

The background of the book cover is a classical painting. It depicts a reclining figure, possibly a woman, whose hands are pressed against the ground. In the lower-left corner, there is a cluster of white flowers. The overall color palette is dominated by warm, earthy tones like ochre, sienna, and terracotta, with some darker, more muted colors in the upper right.

Серен  
КЪЕРКЕГОР



ДНЕВНИК  
ОБОЛЬСТИТЕЛЯ.  
АФОРИЗМЫ

Сёрен Кьеркегор

**Дневник обольстителя.  
Афоризмы (сборник)**

«Издательство АСТ»

## **Кьеркегор С.**

Дневник обольстителя. Афоризмы (сборник) / С. Кьеркегор —  
«Издательство АСТ»,

В книгу известного датского философа и писателя Серена Кьеркегора (1813—1855) вошли его лучшие произведения: роман «Дневник обольстителя», раскрывающий идеальную стратегию любовного соблазнения и подчинения юной девушки, а также знаменитые «Афоризмы».

## Содержание

Дневник обольстителя	5
Предыстория	5
4 апреля	12
5 апреля	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Серен Кьеркегор

## Дневник обольстителя. Афоризмы

### Дневник обольстителя

*Sua passion' predominante  
e la giovin principiante.*

*Преобладающей его страстью  
были молоденькие девушки. (итал.).  
Don Giovanni, Aria*

### Предыстория

Собираясь ради личного своего интереса снять точную копию с бумаг, с которыми я познакомился так неожиданно и которые произвели на меня такое сильное, волнующее впечатление, я не могу отделаться от какого-то невольного смущения и страха. Впечатления первой минуты открытия выступают передо мной с прежней силой. Приятель мой уехал куда-то на несколько дней, оставил, против обыкновения, свой письменный стол открытым, и все, что в нем находилось, было, таким образом, в моем полном распоряжении. Обстоятельство это, конечно, нисколько не оправдывает моего поступка, да и напрасно оправдываться, но я все-таки прибавлю еще, что один из ящичков, полный бумаг, был слегка выдвинут, и в нем на самом верху лежала большая тетрадь в красивом переплете; на верхней корочке переплета был приклеен билетик с надписью, сделанной рукой моего приятеля: *Commentarius perpetuus* (Последовательные заметки – лат.). Напрасно также с моей стороны оправдывать себя и тем обстоятельством, что книга лежала как раз этой стороной переплета кверху. Ведь если бы меня не соблазнило оригинальное и заманчивое заглавие тетради, я, быть может, и устоял, или, по крайней мере, постарался устоять против искушения ознакомиться с ее содержанием... А заглавие было действительно заманчиво, и не столько само по себе, сколько по сравнению с остальными окружающими бумагами. Стоило мне бросить на них беглый взгляд, и я уже знал, вернее, угадал их содержание: эротические наброски, намеки на различные отношения и, наконец, черновые письма особого рода; несколько позже мне пришлось познакомиться с ними в окончательной, тонко рассчитанной и художественно выполненной небрежной форме. Теперь, когда коварная душа этого безнравственного человека стала для меня уже открытой книгой, мною (если я вновь представлю себя мысленно перед тем раскрытым ящичком) овладевает чувство полицейского, неожиданно обнаружившего приют поддельвателя ассигнаций: отпирая ящички, он находит кучу бумажек – пробы различного шрифта, образчик виньетки, подпись кассира, строки, писанные справа налево... Он сознает, что попал на верный след, и смешанное чувство радости, некоторого страха и, наконец, удивления наполняет его душу. Между мной и полицейским, однако, та разница, что у меня нет ни привычки к подобным открытиям, ни права делать их; я в описываемом случае стоял совершенно на незаконной почве, потому и чувствовал себя несколько иначе: мысли спутались, слова куда-то затерялись. Первое впечатление слишком озадачило меня, а размышление еще не вступило в свои права. Обыкновенно, чем больше развита у человека способность мыслить и соображать, тем быстрее и искуснее мысли его подбираются к предмету, осматривают его со всех сторон и затем вполне им овладевают. Развитое соображение, как паспортист для иностранцев, настолько уже освоилось с

самыми разнообразными, причудливыми типами, что его нелегко поставить в тупик. Как ни развиты, однако, у меня соображение и мышление, признаюсь, что в первую минуту я положительно растерялся и даже побледнел и от неожиданности открытия, и от мысли: а вдруг он сейчас вернется и застанет меня в этом положении, перед раскрытым ящиком?! Да, нечистая совесть может-таки внести в жизнь некоторый интерес и оживление!

Судя по заглавию найденной тетради, я принял было ее за собрание различных эскизов, тем более, что знал, как серьезно относится мой приятель ко всякому предпринятому им литературному труду. Оказалось, что я ошибся, и это был аккуратно веденный дневник. Не зная еще содержания этого дневника и опираясь на свое прежнее знакомство с его автором, я не мог согласиться с заглавием на тетради, – я не находил, чтобы жизнь моего приятеля особенно нуждалась в комментариях, – зато теперь я не могу отрицать, что заглавие было выбрано с большим вкусом. Оно вполне гармонирует с содержанием дневника. Вся жизнь моего приятеля представляла, как оказалось, ряд попыток осуществить свою мечту – жить исключительно эстетической жизнью (и так как у него в высшей степени была развита способность находить интересное в жизни, то он и пользовался ею), а затем поэтически воспроизводить пережитое на бумаге. Строго исторического или просто эпического характера предлагаемый дневник не носит, содержание его скорее условное, чем положительное. Без сомнения, приятель мой записывал события уже после того, как они совершались, иногда, может быть, даже спустя очень долгое время, тем не менее самый рассказ так жив и драматичен, что события как бы совершаются перед нами въявь. Я не думаю, чтобы приятель мой, ведя дневник, имел в виду какую-нибудь постороннюю цель: как в целом, так и в частностях, дневник этот не допускает возможности видеть в нем поэму, предназначенную для печати, и, по-видимому, имел для автора исключительно личное значение. Но во всяком случае автор не имел бы причин и бояться издать его: большинство собственных имен, встречающихся в нем, так странны, что невольно является сомнение в их исторической верности. Я имею основание думать, что только первое собственное имя действующих лиц оставалось автором без изменения для того, чтобы сам он впоследствии мог знать о ком идет речь, а всякий посторонний был бы обманут фамилией. Это, заметил я, по крайней мере, относительно Корделии – девушки, на которой сосредоточен главный интерес дневника и которую я знал лично. Настоящая фамилия ее не имела ничего общего с той, которую она носит в дневнике.

Объяснение поэтического характера дневника найти нетрудно. Поэтическая натура моего приятеля была недостаточно богата или, если хотите, недостаточно бедна, чтобы отличить поэзию от действительности. Напротив, он сам вносил поэзию в окружающую его действительность и, насладившись, уносил ее обратно в виде поэтических воспоминаний и размышлений. В этом заключалось для него двойное наслаждение: в первом случае он сам отдавался упоению эстетического, во втором – он эстетически наслаждался своей личностью; в первом – он лично эгоистически наслаждался этой, им же самим опоэтизированной действительностью, во втором – личное «я» как бы стусевывалось: наслаждаясь каким-нибудь положением, он смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана на одно наслаждение, и хотя в первом случае действительность была для него необходима как повод, момент, во втором – она совершенно исчезала в поэзии. Плодом наслаждения второго рода является, таким образом, сам дневник, а плодом первого – настроение, в котором он велся, объясняющее также его поэтический характер. Именно благодаря этой двойственности, которая проходила через всю жизнь автора, у него и не было недостатка в поэтическом материале.

Мир, в котором мы живем, вмещает в себя еще другой мир, далекий и туманный, находящийся с первым в таком же соотношении, в каком находится с обыкновенной сценической обстановкой – волшебная, изображаемая иногда в театре среди этой обыкновенной, и отделенная от нее тонким облаком флера. Сквозь флер, как сквозь туман, виднеется словно бы

другой мир, воздушный, эфирный, иного качества и состава, нежели действительный. Многие люди, живущие материально в действительном мире, принадлежат, в сущности, не этому миру, а тому, другому. Причиной подобного исчезновения человеческой личности в мире действительности может быть как избыток жизненных сил, так и известная болезненность натуры.

На последнюю причину можно указать, имея в виду моего приятеля, которого я так долго знал, не зная его в сущности. Не принадлежа действительному миру, он тем не менее постоянно вращался в нем, но при этом даже в те минуты, когда почти всецело отдавался ему и телом и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по его поверхности. Что же именно влекло его за пределы действительности? Не добро и не зло – последнего я не могу сказать даже теперь. Он просто страдал *exacerbatio cerebri* (помрачение рассудка – *лат.*), и действительность как-то не действовала на него, самое большее – моментально; в ней не находилось достаточно сильных раздражающих стимулов для него, его натура была слишком крепка, но в этой-то излишней крепости и скрывалась его болезнь. Как только действительность теряла свои возбуждающие стимулы, он становился слабым и беспомощным, что и сам сознавал в минуты отрезвления и в чем лежало главное зло.

Героиню дневника, Корделию, я, как уже сказал, знал лично; были ли еще жертвы этого соблазнителя, я точно не знаю, но это, пожалуй, можно заключить из дневника, в котором вообще так ярко обрисовывается личность автора. Духовная сторона, преобладающая в его натуре, не допускала его довольствоваться низменной ролью обыкновенного обольстителя: это было бы слишком грубо для его тонко развитой организации; нет, в этой игре он был настоящим виртуозом. Из дневника видно, что конечной целью его настойчивых желаний был иногда только поклон или улыбка, так как в них именно, по его мнению, была особая прелесть данного женского существа. Случалось таким образом, что он увлекал девушку, в сущности совсем не желая обладать ею в прямом смысле этого слова. В таких случаях он продолжал вести свою игру лишь до того момента, когда девушка была, наконец, готова принести ему в жертву все. Видя, что такой момент наступил, он круто обрывал отношения. Благодаря его блестящим дарованиям и почти демоническому умению вести свою игру, подобные победы давались ему очень легко, даже без малейшего шага к интимному сближению с его стороны: ни слова любви, ни признания, не говоря уже о клятвах и обещаниях. Тем не менее, победа была полная, и несчастная страдала тем более, что в своих воспоминаниях она не могла отыскать ни малейшей точки, на которую могла бы опереться. Она как будто попадала в какой-то заколдованный круговорот: бешеный вихрь подхватывал ее мысли, чувства, упрёки себе, ему; прощение, надежда, сомнения – все кружилось, путалось в ее мозгу и сердце. Иногда ей казалось даже, что все случившееся с ней было лишь бредом, фантазией – так, в сущности, не действительны были их отношения друг к другу. Она не могла даже облегчить душу, поверить свою тайну кому-нибудь: ей нечего было верить. Сон, мечту можно еще передать другому словами, но случившееся с ней в действительности мгновенно таяло, обращалось в ничто, как только она хотела воплотить его в словах и образах; да, оно исчезло, но в то же время продолжало давить ее тяжким бременем. Горе такой жертвы было не сильным, но естественным горем обманутых и покинутых девушек: она не могла облегчить своего переполненного сердца ни ненавистью, ни прощением. Посторонний глаз не мог уловить в ней никакого видимого изменения, она продолжала жить по-прежнему, доброе имя ее оставалось незапятнанным, но все ее существо как бы перерождалось, непонятно для нее самой, невидимо для других. Ей не нанесено было никакой видимой раны, жизнь ее не была грубо надломлена чужой рукой, но как-то загадочно уходила внутрь, замыкалась в самой себе. Словом, ни следа, ни повода, чтобы кто-нибудь мог увидеть в ней жертву, а в нем обольстителя; в этом отношении он был чист от всяких обвинений. Как уже сказано, он жил слишком отвлеченной жизнью, умом и воображением, чтобы быть обольстителем в обыкновенном смысле этого слова, но ему случалось предаваться и чувственности. Это доказывает его история с Корделией. С ней он является фактическим



обольстителем, но и здесь личное участие его настолько неясно, что никакое доказательство немислимо, и даже сама несчастная девушка иногда как бы сомневается: кто из них виноват? Женщина была для него лишь возбуждающим средством; надобность миновала, и он бросал ее, как дерево сбрасывает с себя отзеленевшую листву: он возрождался – она увядала.

Но что же творилось при этом в его собственной душе? Я думаю, что, запутывая, вводя в заблуждение других, он кончит тем, что запутается окончательно и сам. Ведь если возмутительно направить заблудившегося путника на неверную дорогу и покинуть его там, то во сколько же раз возмутительнее ввести человека в заблуждение уже не относительно внешних явлений, а относительно его самого? Заблудившийся путник имеет по крайней мере надежду как-нибудь выбраться: местность перед ним меняется, и каждое новое изменение порождает новую надежду. Но человек, заблудившийся в самом себе, скоро замечает, что попал в какой-то круговорот, из которого нет выхода; мысли и чувства в нем мешаются, и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать себя. Однако и это все – ничто в сравнении с положением самого хитреца, потерявшего в конце концов нить и запутавшегося в своем собственном лабиринте. Совесть его пробуждается, и он тщетно призывает на помощь свое остроумие. Как поднятая лисица, мечется он в своей норе, ища одного из бесчисленных выходов, оставленных на всякий случай; вот ему мерещится издали луч дневного света, он кидается туда, и что же? Это лишь новый вход! Вместо того чтобы выбраться, он таким образом постоянно возвращается в себя самого. Такого человека нельзя назвать вполне преступным – он сам был обманут своими интригами, но тем ужаснее его наказание. Что значат угрызения совести преступника в сравнении с таким сознательным безумием? Наказание, постигающее его, чисто эстетическое, и выражение «совесть его пробуждается» слишком, если можно так выразиться, «этично», чтобы пояснить его душевное состояние. Чувство, овладевающее им, – не совесть, а скорее нечто вроде высшего, утонченного самосознания, которое в сущности не мучит его обвинениями, но лишь поддерживает его душу в вечно бодрствующем беспокойном состоянии, не давая ему забыться и постоянно побуждая метаться в новых бесплодных поисках. Нельзя также вполне применить сюда выражение «безумие»: вечно сменяющееся богатое разнообразие мыслей не допускает его душу застыть в неподвижной бесконечности безумия.

Но бедная Корделия! Не скоро отдохнет ее измученное сердце в безмолвном покое забвения. Тысячи различных, непрерывно сменяющих друг друга чувств волнуют и терзают ее. Вот она готова успокоиться, забыть, простить своему обольстителю все, но вдруг, как молния, сверкает в ее голове мысль, что не он виноват, а она: ведь она сама возвратила ему кольцо, ее гордость требовала нарушения всяких обязательств! Мучительное раскаяние томит ее, минута – и самообвинение сменяется новым обвинением: это он лукаво вдохнул в нее свой план! О, как она ненавидит его, проклинает! И вслед затем она вновь упрекает себя: разве смеет ненавидеть и проклинать она, сама не менее виновная! Страдания Корделии еще увеличиваются сознанием, что это он пробудил в ней тысячеголосое размышление, развил ее эстетически настолько, что она уже не может больше прислушиваться к одному только голосу, но слышит их все сразу, и они наполняют ее слух, звучат в нем самыми разнообразными тонами и переливами и заполняют ее душу. Вспоминая об этом, она забывает весь его грех и вину, она помнит лишь одни прекрасные мгновения, она упоена этими воспоминаниями... В неестественном возбуждении сердца и фантазии она воспроизводит мысленно его внешний образ до того живо, что прозревает и его внутреннее содержание своим, как бы ясновидящим оком. В эти минуты она понимает его в чисто эстетическом смысле, не видя в нем ни преступного, но и ни безукоризненно честного человека. Этот взгляд сквозит и в ее письме ко мне.

«Иногда, – пишет она, – он жил до такой степени отвлеченной жизнью, что становился как бы бесплотным, и я не существовала для него как женщина. Иногда же он был так необузданно страстен, так полон желаний, что я почти трепетала перед ним. То я становилась будто чужой для него, то он весь отдавался мне. Обвивая его руками, я иногда чувствовала вдруг, что



все как-то непонятно изменяется, и – я „обнимаю облако“. Это выражение я знала прежде, чем узнала Йоханнеса, но только он научил меня понимать его тайный смысл. Этого выражения я никогда не забуду, как не забуду и его, – ведь каждая моя мысль дышит им одним. Я всегда любила музыку, – он был чудный инструмент, всегда взволнованный, всегда полный звучания... Но ни один инструмент не обладает таким объемом и богатством звуков, – он вмещал в себя выражение всех чувств, всех настроений. Ничто не казалось ему слишком недостижимым, ни перед чем бы он не отступил. В его голосе звучали то порывы урагана, то едва слышный шелест листьев. Ни одно из моих слов не оставалось не услышанным его чуткой душой, но достигали ли они своей цели – я не знаю, потому что никогда не могла уловить, какое именно действие они производили. Упоенная и очарованная, я жадно внимала этой музыке, вызванной мною и, в то же время, вполне произвольной. Ее дивная гармония бесконечно увлекала мою взволнованную душу!...»

Да, для нее последствия были ужасны! Но еще ужаснее будут они когда-нибудь для него: даже меня, лицо совсем постороннее, охватывает невольный трепет, едва я подумаю об этой драме. Я чувствую себя увлеченным в это царство туманной фантазии, в этот призрачный мир, где каждую минуту вздрагиваешь, испуганный собственной тенью. Напрасно стараюсь я оторвать свои мысли от этой таинственной истории, – я продолжаю мысленно следовать за ее развитием, как немой, но грозный свидетель. Да, Йоханнес окутал все глубокой, непроницаемой тайной, но возникла новая тайна, о существовании которой он и не подозревает: именно то, что я приподнял таинственную завесу его тайны, хотя и незаконным путем. Не раз я думал заговорить с ним об этом, но к чему? Он или решительно отказался бы от всего, уверяя, что весь дневник – лишь поэтический набросок, плод его собственной фантазии, или взял бы с меня слово молчать, на что имел полное право, ввиду способа, употребленного мною для раскрытия тайны. Ничто не приносит с собой столько соблазна и проклятий, как тайна!

Я получил от Корделии целую пачку его писем; думаю, однако, что в ней были не все: она сама намекнула мне однажды, что уничтожила некоторые. Я снял с них копии и также внес их в дневник. Мне было довольно трудно разместить их в надлежащем порядке, так как они не помечены числами; впрочем, это все равно ничуть не облегчило бы задачи: в самом дневнике, по мере его развития, все реже и реже встречаются указания на день и число. Указания эти становятся как будто лишними, настолько знаменательным делается само содержание дневника; оно, несмотря на свою фактическую подкладку, становится почти идеей. Несколько помогло же мне то, что я еще раньше заметил в разных местах дневника слова, смысл которых оставался для меня неясным до тех пор, пока я не прочел писем. Последние, как я увидел, представляли собой как бы разработку тех вскользь брошенных слов и намеков, которые останавливали мое внимание. Благодаря этому обстоятельству затруднения с размещением писем в дневнике исчезли, и я не впал в ошибки, которые иначе были бы неизбежны, поскольку я не знал, как часто следовали эти письма одно за другим. Оказалось, что иногда Корделия получала их по несколько в один день. Я, конечно, разместил бы их более равномерно, ничего не зная о той страстной энергии, с которой Йоханнес пользовался этим, как и всяким вообще средством, чтобы разжигать чувство Корделии, не давая ей опомниться.

В дневнике, кроме подробной истории отношений с Корделией, встречается также несколько маленьких эпизодов эстетического характера, отмеченных на полях; эти эпизоды, не имеющие никакого отношения к главному предмету повествования, объяснили мне, между прочим, смысл любимого выражения моего приятеля, которое я понимал прежде совсем иначе: «Рыбаку нужно на всякий случай забрасывать маленькие удочки и на сторону». В дневниках прежних лет такие, как он сам называет их, *actions in distans* (воздействия на расстоянии – *лат.*) попадались, наверное, чаще, но здесь он признается, что Корделия слишком овладела его воображением, чтобы оставить ему время хорошенько осматриваться кругом.

Вскоре после своего разрыва с Корделией он получил от нее несколько писем, но возвратил их нераспечатанными. Корделия сама распечатала их и передала мне вместе с полученными от него. Она никогда не говорила со мной об их содержании, но, когда разговор касался ее отношения к Йоханнесу, цитировала обыкновенно маленькое стихотворение, принадлежащее, если не ошибаюсь, Гете, имевшее в ее устах каждый раз новое значение, соответствующее душевному настроению в данную минуту.

Gehe,  
Verschmahe  
Die Treue, —  
Die Rene  
Kommt nach.

Убегай,  
Презирай,  
Любовь губя, —  
Раскаянье  
Настигнет тебя (нем.).

Я думаю, что будет нелишним и вполне уместным поместить здесь и ее письма.

\* \* \*

Йоханнес!

Я не называю тебя «мой Йоханнес», я знаю теперь, что ты никогда не принадлежал мне, и я жестоко наказана за то, что осмелилась когда-то лелеять эту мысль в моем сердце... И все же ты мой – мой обольститель, мой враг, мой убийца, мое горе, мое разочарование, мое отчаяние! Повторяю: ты мой, и я твоя! Твоя! Пусть это слово, прежде ласкавшее твою гордость, прозвучит теперь проклятием над твоей головой, вечным проклятием! Не думай, что я стану преследовать тебя, вооружаться кинжалом, чтобы вызвать твои насмешки, нет, беги куда хочешь – я все-таки твоя, люби сотни других – я твоя, даже в смертный час я останусь твоей! Сам язык моего письма к тебе должен доказать тебе, что я – твоя! Ты осмелился обмануть меня своей любовью так, что стал для меня всем, что я сочла бы счастьем быть даже рабыней твоей – и я остаюсь твоей навеки!

Я твоя, твоя, твое проклятие!

Твоя Корделия.

\* \* \*

Йоханнес!

Был богатый человек, у него было очень много мелкого и крупного скота; была бедная девушка, у нее была лишь одна овечка, которая ела из рук и пила из ее чаши. Ты был богатый человек, богатый всеми благами жизни; я была бедная девушка, у меня была лишь любовь моя. Ты взял ее, наслаждался ею... Ты принес в жертву своим страстям единственное, чем владела я; сам ты не пожертвовал ничем! Был богатый человек, у него было очень много мелкого и крупного скота; была бедная девушка, у нее было лишь сердце, полное любви!

Твоя Корделия.

\* \* \*

Йоханнес!

Неужели нет надежды? Неужели твоя любовь ко мне никогда не воскреснет? Ведь я знаю, что ты любил меня когда-то, хотя и не знаю, почему я уверена в этом. Буду ждать, как бы медленно ни тянулось время, буду ждать, ждать... Ты устанешь любить других, и твоя любовь ко мне восстанет из своей могилы, вспыхнет прежним огнем! Как буду я любить тебя, боготворить! Как прежде! Йоханнес, неужели это бессердечное, холодное равнодушие и есть твое истинное существо? Неужели твое богатое сердце, твоя пылкая любовь были лишь ложью? Неужели ты играл только роль, а теперь, теперь – вновь стал самим собою?

Йоханнес, прости, что я все еще люблю тебя. Я знаю, что любовь моя для тебя – бремя, но ведь настанет же опять минута, ты вернешься к твоей Корделии, слушай этот молящий призыв твоей Корделии.

Твоя Корделия.

\* \* \*

Если Корделия и не обладала таким богатством внутреннего содержания, каким она восхищалась в Йоханнесе, то во всяком случае ее душевные струны не лишены были чуткой гармонии. Ее разнообразные переливы ясно звучат в каждом письме, хотя в них и недостает до известной степени ясности изложения.

Особенно это заметно во втором из них, где мысль останавливается, так сказать, на полуслове и где есть что-то недосказанное, а сам смысл скорее угадывается, чем понимается. Но это именно и придает ему, по-моему, такой трогательный оттенок.

## 4 апреля

Осторожнее, моя прелестная незнакомка! Осторожнее! Выходить из кареты не так-то легко, как кажется, часто это бывает очень даже решительным шагом. Я мог бы указать вам в этом случае на новеллу Тика. В ней рассказывается, как одна отважная дама, слезая с лошади, так запуталась в платье и сделала такой шаг, что он решил все ее будущее. К тому же подножки у кареты устроены так скверно, что волей-неволей приходится отказаться от всякой мысли о грации и рискнуть на отчаянный прыжок прямо в объятия кучера или лакея. Славно живется этим господам! Право, я думаю сыскать себе подобное место в доме, где есть молоденькие барышни; лакей ведь так легко иногда становится поверенным этих очаровательных созданий! Однако, ради бога, не прыгайте, умоляю вас, не прыгайте! А! Вот так, так, это лучше всего, спускайте осторожно ваши ножки и не стесняйтесь приподнять платье: теперь уже сумерки, никто не увидит, и я не помешаю вам; я только встану вон под тем фонарем, вы не увидите меня, а стало быть, вам нечего и стесняться. Стесняешься ведь обыкновенно лишь настолько, насколько бываешь видим, а считаешь себя видимым не в большей степени, чем сам это видишь. Итак, ради слуги, который, пожалуй, не в состоянии выдержать сильного прыжка, ради вашего прелестного платья, изящной кружевной накидки, ради меня самого, наконец, пусть ваша маленькая ножка, стройность которой уже успела восхитить меня, выглянет на белый свет. Положитесь на нее, она наверняка сыщет себе опору. Не пугайтесь, если вам покажется, что она скользит, спускайте поскорее и другую, вы ничуть не рискуете. Кто же может быть так жесток, что оставит ее в этом опасном положении? Кто не поспешит полюбоваться таким прекрасным явлением и помочь ей? Или вы боитесь, может быть, кого-нибудь постороннего. Ведь не слуги же и не меня, надеюсь. Я уже видел эту очаровательную ножку, и, так как я в некотором роде естествоиспытатель, то на основании положений Кювье вывел известное заключение. Итак, смелее! Право, страх только увеличивает вашу красоту, т. е., собственно говоря, страх красив вовсе не сам по себе, а лишь в соединении с преодолевающей его энергией. Ну вот! Посмотрите, как твердо стоит теперь эта крошечная ножка! Я уже не раз имел случай заметить, что девушки с маленькими ножками держатся тверже и увереннее, чем большеногие. Вот тебе раз! Кто бы это мог подумать? Казалось бы, опыт создал правило, что гораздо безопаснее выходить из кареты медленно и осторожно, чем выпрыгивать: меньше риска разорвать платье – и вдруг?! Да, оказывается, что молодым девушкам вообще опасно ездить в карете – в конце концов, пожалуй, совсем останешься в ней. Делать нечего, кружева ваши испорчены! Что за беда, впрочем, ведь никто ничего не видел. Правда, у фонаря появляется какая-то темная фигура, укутанная до самого подбородка. Свет падает вам прямо в глаза, и вы не можете угадать, откуда она появилась; она равняется с вами в ту минуту, как вы готовы войти в подъезд. Взгляд, брошенный сбоку, как молния, обжигает вас: вы краснеете, грудь ваша волнуется, дыхание прерывается, в глазах мелькает гнев, гордое презрение, слабая мольба, дрожит слезинка, то и другое я могу отнести к себе. И я еще вдобавок настолько жесток, что... Какой номер этого дома? А-а! Это «Базар модных вещей»!

Может быть, это дерзость с моей стороны, очаровательная незнакомка, но я лишь следую за моей путеводной звездочкой. Она уже забыла о своем маленьком приключении, и немудрено: в семнадцать лет каждая безделушка так радуется и приковывает внимание. Она не замечает меня, я стою у другого конца прилавка.

На боковой стене висит зеркало; она о нем не думает, но оно-то о ней думает! Оно схватывает ее образ, как преданный и верный раб, схватывающий малейшее изменение в чертах лица своей госпожи. И, как раб, оно может лишь воспринять, но не обнять ее образ. Бедное зеркало! Оно не может даже ревниво затаить в себе этот образ, спрятать его от глаз света, оно должно выдавать его другим, как вот сейчас мне, например. Что, если бы человек был

так создан? Вот была бы мука! А ведь есть на свете люди без всякого внутреннего содержания, живущие лишь заимствованным у других. Эти люди схватывают лишь внешнее впечатление, а не самую сущность предмета, и при первом же дыхании действительной жизни слабый след этот стирается в их душе, как в зеркале образ нашей красавицы, вздумай она хоть одним дыханием открыть ему свое сердце. Что, если бы внутреннее око человека не обладало даром сохранять впечатления? Ведь тогда, пожалуй, пришлось бы всегда держаться в некотором расстоянии от красоты: внешним своим оком человек не может воспринимать того, что слишком близко к нему, что покоится в его объятиях. К счастью, внутреннему оку не нужно удалять от себя любимый образ, чтобы вновь вызвать его перед собою, даже тогда, когда уста сливаются с устами! Но как она прелестна! Несчастное зеркало! Хорошо, что ревность тебе незнакома. Ее личико строго овальной формы; головка слегка наклонена над прилавком, отчего гордый и чистый лоб без малейшей обрисовки умственных органов кажется выше и больше; темные волны волос легко облегают его. Все личико похоже на спелый персик: полно-округленная линия, прозрачная и бархатистая кожа, – бархатистость ее я ощущаю взглядом. Глаза ее... да, ведь я еще не видал их; они прикрыты шелковыми ресницами, слегка загнутыми на концах. Пусть бережется их стрел всякий, кто захочет встретить ее взор! Чистота и невинность этой наклоненной головки делают ее похожей на Мадонну. Но ее взгляд не выражает сосредоточенного созерцания: роскошь и разнообразие рассматриваемых ею вещей бросают свой отблеск на ее лицо, играя на нем всевозможными оттенками. Вот она снимает перчатку, чтобы показать зеркалу – и мне – свою ручку античной формы и снежной белизны. На ней нет никаких украшений, даже гладкого золотого кольца на четвертом пальце – браво! Она поднимает глаза... Как изменилось ее лицо! И тем не менее оно то же, что и прежде, только лоб стал как будто не так высок, овал лица не так правилен, зато в выражении появилось больше жизни. Она очень живо и весело болтает с приказчиком. Вот она выбрала одну, две, три вещи, берет четвертую, рассматривает ее. А! она опять опустила глаза, спрашивает о цене, осторожно кладет вещь на прилавок и прикрывает ее перчаткой. Это уже пахнет секретом! Подарок кому-нибудь, другу сердца? Но ведь она еще не обручена! Увы! Есть много необрученных и все ж имеющих друзей сердца! Не оставить ли ее в покое? Зачем мешать невинному удовольствию? Барышня собирается платить, но, оказывается, она забыла кошелек! Вот теперь она, вероятно, говорит свой адрес, но я не хочу подслушивать: зачем лишать себя удовольствия нечаянной встречи? Уж когда-нибудь я встречу ее и, конечно, сразу узнаю. Она меня, вероятно, тоже: мой взгляд не скоро забудешь. А может быть, я и сам буду застигнут врасплох этой встречей. Ничего, потом наступит ее очередь! Если же она не узнает меня – я сразу замечу это и найду случай опять обжечь ее таким же взглядом, тогда ручаюсь, что вспомнит! Только больше терпения, не надо жадничать – наслаждение следует глотать по капелькам. Красавица отмечена и не уйдет.

## 5 апреля

Вот это мне нравится! Одна, вечером на Эстергаде! Не беспокойтесь, впрочем, я не такого дурного мнения о вас и совсем не думаю, что вы пустились гулять одна-одинешенька. Да и не настолько я неопытен, чтобы при обозрении поля действия мне сразу не бросилась в глаза эта солидная фигура в темной ливрее, так важно шагающая в некотором отдалении от вас. Но зачем же вы так спешите? Разумеется, не затем, чтобы вернуться домой поскорее; вернее, что этот усиленный темп сердца и ножек происходит от нетерпеливого волнения и какого-то сладкого трепета, охватывающего вас. Ах, как приятно гулять так одной, с лакеем позади! Да, нам шестнадцать лет, мы довольно начитаны... романами. Случайно проходя мимо комнаты братьев, мы поймали заманчивое словечко об Эстергаде. Потом мы шмыгнули несколько раз уже нарочно, чтобы узнать побольше, – не удалось! А ведь надо же в самом деле такой большой, совсем взрослой девушке набраться более обстоятельных сведений о том, что делается на белом свете! Вот если бы уйти из дома одной, без этого лакея позади! Куда? Что скажут папаша с мамашей? Хоть бы уж с лакеем! Да и то, какой предлог придумать для такой прогулки? Так трудно сообразиться со временем! Когда идешь в гости – это чересчур рано, ведь товарищ брата Августа сказал, что всего интереснее бывает часов в десять, одиннадцать... Когда же возвращаешься назад – поздно, да еще всегда навяжут тебе в провожатые какого-нибудь кавалера! Вот в четверг вечером, когда едешь из театра, было бы очень удобно, но опять беда: сидишь в карете с тетей и полдюжиной кузин! Вот если бы ехать одной, тогда стоит только спустить стекло – и любуйся сколько хочешь. Но *ounverhofft kommt oft* (чего не чаешь – то получаешь – нем.). Сегодня мама сказала: «Ты, наверное, не завершишь своего подарка к рождению папы, ступай-ка к тете, там тебе никто не мешает работать. Оставайся там пить чай, а после я пришлю за тобой Ганса». Собственно говоря, проскучать целый вечер у тети не особенно приятная перспектива, но зато оттуда пойдешь одна, только с лакеем! Он придет немного рано, и ему придется подождать; не раньше десяти часов, тогда – марш! Вот забавно было бы встретить теперь милейшего братца или господина Августа! Нет, лучше не надо! Пожалуй, вздумали бы еще провожать, благодарю покорно! Вот если б так случилось, что я бы их видела, а они меня нет! Теперь вы озираетесь кругом, моя маленькая плутовка. А что вы видите, позвольте спросить, или что вижу я, по-вашему? Во-первых, я вижу на вашей головке маленькую шапочку, которая идет вам как нельзя больше, она вполне гармонирует с вашей шаловливой резвостью. Это, в сущности, не шляпка, а что-то вроде капора. Но вы ведь, разумеется, не надели его утром, отправляясь к тете. Вероятно, его принес с собой лакей или одолжила тетя? А может быть, мы тут инкогнито? Вы очень предусмотрительно приподняли свою вуаль, иначе ведь немного сделаешь наблюдений. Впрочем, в темноте трудно решить: вуаль это или просто широкая блонда, во всяком случае, она прикрывает лишь верхнюю часть лица. Гм! Посмотрим хорошенько. Подбородок очень изящный, немного острый, ротик маленький, полуоткрытый, это – от ускоренной ходьбы. Зубки белы и блестящи, как жемчужины. Так и следует: зубы – предмет первостепенной важности. Это «*sauve garde*» (телохранитель – фр.), укрывающийся за соблазнительной мягкостью пунцовых губок. На щеках цветут розы. И – да, мы недурны! А что, если я слегка наклоню голову и загляну под вуаль: берегись, дитя мое, такой взгляд, брошенный снизу, опаснее, чем «*gerade aus*» в фехтовании (а какое же оружие может блеснуть так внезапно и затем пронзить насквозь, как глаз), – маркируешь, как говорится, *in quarto*, и выпадаешь *in secondo*. Славная это минута! Противник, затаив дыхание, ждет удара... Раз! он нанесен, но совсем не туда, где его ожидали! А она продолжает себе шагать вперед без страха и упрека! Но берегитесь! Вот там идет кто-то, опустите скорее вуаль, не давайте его профанирующему взгляду осквернить вас, вы себе представить не можете, что могло бы из этого выйти, вы долго бы, пожалуй, не забыли неприятного содрогания, которое

невольно почувствовали бы при этом взгляде. Но вы ничего не замечаете, а он уже наметил план действий. Лакей избран ближайшей жертвой. Трах! Ну вот вам и гуляйте вперед одна с лакеем! Лакей ваш упал. Положим, это смешно, но все-таки, что же вам делать теперь? Вернуться, помочь ему – нельзя; идти с запачканным лакеем – и неприятно, и неловко; идти одной – как-то странно. Теперь остерегайтесь – минута наступает, чудовище приближается к вам. Вы не отвечаете мне? Полноте, посмотрите же на меня, разве моя наружность внушает вам какое-либо опасение? Кажется, она не из таких, которые могут произвести особенное впечатление; на вид я добродушнейший человек в мире, не имеющий ничего общего с уличными героями. Ни одного неосторожного слова о неприятном приключении, ни одного резкого неделикатного движения. Но вы все еще немного испуганы, вы еще не забыли, как внезапно появилась подле вас эта таинственная фигура. Но вот мало-помалу вы начинаете немножко располагаться в мою пользу: моя неловкость и застенчивость, мешающая мне даже взглянуть на вас, дают вам некоторый перевес надо мной. Это радует и успокаивает вас. Пожалуй, вы не прочь даже слегка позабавиться моим смущением. Я готов пари держать, что вы взяли бы меня под руку, если бы догадались только. А, так вы живете здесь, в Стормгаде? Вы прощаетесь со мной коротким, церемонным поклоном. Разве только такую благодарность заслужил я за свою рыцарскую услугу? Но вы раскаялись, вернулись, подаете мне руку. Что же? Вы побледнели? Разве мой тон не по-прежнему почтителен, осанка не так же прилична, взгляд не довольно скромно? А-а! пожатие руки? Да разве оно может что-нибудь означать? А как вы думаете? Даже очень много, моя милая! Не пройдет и двух недель, как я буду иметь честь объяснить вам это, а до тех пор оставайтесь в недоумении. Да, я, добродушнейший на вид господин, так вежливо и скромно проводивший барышню до дома, могу пожать ей руку далеко не добродушным образом!



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.